

МОЛОДОЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Публикации Н. Алексеева и В. Каплинского

Предисловия А. Нифонтова и В. Каплинского

I. НЕИЗДАННЫЕ СЕМИНАРСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В архиве саратовского Дома-музея имени Н. Г. Чернышевского хранится много ранних ученических работ Николая Гавриловича — среди них имеются его школьные работы, семинарские сочинения и университетские доклады. Большинство этих рукописей мало доступно для исследователей — написаны они часто на латинском языке, нередко при помощи особой условной скорописи (придуманной Чернышевским в семинарские годы) и до сего времени не опубликованы.

Впервые публикуемые ниже тексты Н. Г. Чернышевского относятся к 1845 г.

Семинарское сочинение «Смерть есть понятие относительное» написано в 1845 г. и сохранилось в двух вариантах.

Н. Г. Чернышевский учился в саратовской семинарии с 1 сентября 1844 г. по начало января 1846 г. — 9 января 1846 г. он получил увольнительное свидетельство из семинарии, решив держать экзамены в Петербургский университет.

Таким образом это сочинение написано им 16—17-ти лет от роду.

Преподавание в семинариях 40-х годов носило архаический, средневековый характер. Весьма распространены были диспуты учеников с учителем и писание «задач» или сочинений на заданные преподавателем темы. К числу таких работ на заданную «задачу» и относится публикуемое семинарское сочинение Н. Г. Чернышевского. Вот как он сам позднее вспоминал об этих семинарских занятиях:

«У кого эти «задачи» составляли толстую книгу, тому было обеспечено благоволение начальства. Количество тем, находившихся в обращении при задании задач, было не слишком многочисленное: «страдания приближают нас к богу», «о пользе терпения», «дурное общество развращает нравы» и т. п. — в риторическом классе или низшем отделении семинарии; «о различии души и тела», «о преимуществе умозрительного метода над опытным» и т. п. — в философском классе или среднем отделении; всех различных тем, задававшихся в течение целых 5 или 6 курсов, т. е. 10 или 12 лет, набралось бы не больше ста; а каждый год писалось несколько десятков «задач», стало быть, одни и те же темы очень часто повторялись» (Собр. соч., т. IX, стр. 9—10).

Судя по характеру темы сочинения написано оно было во 2-й половине 1845 г., когда Николай Гаврилович учился на среднем (философском) отделении семинарии. В этом сочинении проводятся, конечно, вполне ортодоксальные положения православного религиозного мировоззрения, от основ которого Чернышевский отошел лишь в свои студенческие годы (см. его «Дневник» за 1848—1850 гг.). Но и в этой оригинальной работе молодого семинариста можно найти элементы критической мысли — в рассуждении его об условности физической смерти. Ведь не надо забывать, что в 1845—1846 гг. Н. Г. Чернышевский систематически читал самый передовой научный журнал того времени — «Отечественные Записки», в котором за эти годы между прочим печатались известные «Письма об изучении природы» Герцена, прочтенные Николаем Гавриловичем еще до отъезда в Петербург. (См. А. Н. Пыпин — «Мои заметки», стр. 58).

А. Нифонтов.

Среди многочисленных ученических работ Н. Г. Чернышевского сочинение его «*An scholae publicae privatis sunf praeferendae?*» («Следует ли отдавать предпочтение школьному воспитанию перед домашним?») занимает особое место.

Если в подавляющем большинстве семинарских работ Чернышевский имел дело с уже готовым материалом (переводы, подражание, изложение пройденного), то в данном случае ему было предложено высказаться по такому вопросу, который его глубоко затрагивал. Как известно, Чернышевский, благодаря преимущественно стараниям отца получил прекрасное домашнее образование и, повидимому, лишь числясь в духовном училище, поступил в семинарию юношей, не испытанным в школьной жизни. Можно себе представить, какое тягостное впечатление произвела на него семинария: состав учителей был не блестящий, уровень познаний у товарищей — очень низкий, а о господствовавших тогда школьных нравах можно прочитать красноречивые рассказы современников — А. И. Розанова, Ф. В. Духовникова и др. (См. Н. М. Чернышевская-Быстрова, Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, гл. I в сб. «Литературные беседы» в. 2, Саратов, 1930). В письме к А. Ф. Раеву от 3 февраля 1844 г. мы имеем высказывания о семинарском преподавании самого Чернышевского: «Разумеется, скучно в семинарии, но не так, как в гимназии: здесь не учат наизусть уроков, хоть это отраднo. Уж если разобрать только, то лучше всего не поступать бы никуда, прямо в университет... А уж в семинарии что делается, и не знаю. Было житье раньше, а ныне уже из огня да в полымя. Об учениках уж и говорить нечего: в класс не пришел — к архиерею. Но и между собой перекусались. Ректор на профессоров к архиерею, инспектор тоже на И. Ф. (разумеется Чернышевским Синайский, преподаватель греческого языка) — поздно ходит в класс. Дрязги семинарские превосходят все описание. Час от часу все хуже, глубже и пакостнее... С. С. (вероятно, Гавриил Степанович Воскресенский, преподаватель латинского языка, известный своей грубостью) умеет только ругаться, а толку от него ничего нет. По-латыни переводят курам на-смех, а того же ругают, кто так, как должно, переводит» (Н. Г. Чернышевский, Дневник, часть II, М. 1932, стр. 263).

На ученической работе Чернышевского несомненно отразились впечатления от хорошо известной ему семинарских порядков, вызвавших в нем отрицательное отношение к школьному преподаванию вообще. Позднее, в дневнике 1848 г. Н. Г. Чернышевский писал: «Дурак в школе обыкновенно бывает умнее хороших и талантливых учеников в жизни: те, учась, следуют авторитету и не имеют времени свободно жить, чувствовать и мыслить, остаются детьми, забытыми людьми». В результате много из них выходят в «бестолковые люди». (Там же, часть I, стр. 23).

При таком положении дел естественно, что вопрос, какому воспитанию отдавать предпочтение — домашнему или школьному, Чернышевский мог решать только в пользу первого. Однако высказать это публично, в сочинении, было не просто: такая мысль, конечно, шла вразрез с официальным толкованием проблемы (о школах заботится высшая власть и пр.) и была далеко не комплиментом по адресу учителей. Но Чернышевский решился ответить на поставленный вопрос прямо: с большой горячностью рисует он в своем сочинении тяжелое положение в школе ученика, любящего науку (легко видеть, что этот ученик — сам Чернышевский), и твердо заявляет: домашнее воспитание лучше школьного. Отрицательный отзыв о содержании сочинения, данный названным выше Воскресенским (принадлежность ему устанавливается сличением почерка с другими отзывами, несомненно принадлежащими этому преподавателю — на переводах с латинского был только естественен. Отметив достоинства стиля (как известно, Чернышевский был прекрасным латинистом), — «изложение ясное и очень хорошее», Воскресенский продолжает: «но направление мыслей, обращение внимания только на школьные злоупотребления — ложно. Ничего не сказано о цели, к которой направляет школу высшая власть». Как часто потом приходилось Чернышевскому слышать упреки в «ложном» направлении мыслей! Рассматриваемое сочинение — первый

решительный протест будущего революционера против господствующего порядка вещей: это, действительно, — «когти льва».

Когда — более точно — было написано это сочинение? На черновике (имеются две рукописи данной работы — черновая, № 833, и беловая, с отзывом преподавателя, — № 875) в конце Чернышевский поставил дату: Саратов, 1 февраля 1845 г. (по-латыни и римскими цифрами). Несмотря на решительную приписку сына Чернышевского, Михаила Николаевича: «По почерку это не может быть 1845, скорее 1843», мы все же думаем, что Чернышевский вряд ли описался римскими цифрами, и относим сочинение к 1845 г. Соображения от почерка в данном случае не могут быть решающими, ибо в черновой рукописи он — один, небрежный и меняющийся, а в беловой — другой, очень старательный; в то же время обе рукописи, конечно, связаны одной датой. По содержанию своему сочинение заставляет предполагать как более или менее продолжительные наблюдения над школьной жизнью, так и приобретение уже Чернышевским известного авторитета. От работы веет желанием автора уйти из семинарии, что и было, как известно, сделано Чернышевским в начале 1846 г.

Печатаемый перевод сделан с беловика. При этом, так как при механическом переписывании Чернышевским были сделаны некоторые описки и допущен в одном месте даже пропуск, не замеченный преподавателем, то для восстановления правильного чтения приходилось пользоваться и черновиком. Все сочинение написано по точнейшему плану с применением известных правил школьной риторики, так что разъяснений к отдельным местам текста не требуется. Отметки преподавателя на полях, если они касаются содержания, а не стилистических ошибок, огорены в примечаниях; там же дан и образец латинского оригинала.

В. Каплинский.

СМЕРТЬ ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

Нет в мире ничего мертвого, — говорят одни философы: на что я ни взгляну, везде, во всем вижу бытие, деятельность, движение, жизнь. Нет в мире ничего живого, — говорят другие: везде, во всей природе одна смерть, одно разрушение.

Откуда такое противоречие?

Абсолютное всем и всегда кажется одинаковым, об нем не может быть спора. Одно относительное может казаться то тем, то другим, смотря по тому, с какой точки зрения и в каком отношении будем мы его рассматривать.

Николай Чернышевский

Поэтому и всякое состояние какого бы то ни было предмета, принадлежащего к миру, может быть названо и жизнью, и смертью, смотря по тому, в каком отношении будем на него взирать.

Степени развития жизни неодинаковы в мире; высшая из них принадлежит существам чисто духовным: но что жизнь их пред полнотою жизни Существа Бесконечного? одно отрицание жизни, небытие, смерть. Но сравним их состояние с состоянием существ духовных же, так же сознающих себя, но скованных цепями материи, с которою они соединены [исправлено учителем: в которую они погружены]: как бедна, ничтожна жизнь этих последних перед жизнью первых! Духи, не связанные телом, в сравнении с ними наслаждаются вполне жизнью, а состояние этих последних ничто иное пред состоянием их, как смерть.

Но можно ли не назвать полною жизнью состояния существа, сознающего себя и свое бытие, в отношении к существованию бессознательному? Мертва природа органическая, но лишенная сознания, пред существами одаренными сознанием: но и она жива, если мы сравним ее с природою неорганическою. Но и самая неорганическая природа, мертвая пред природою

органической, существует же, имеет же бытие: и состояние ее не жизнь ли, есть ли сравнить его с состоянием ничтожества?

То же самое должно сказать и о том нашем состоянии, которое называется смертью. Мы умираем: но не переходит ли эту так называемую смертью душа наша в новое состояние, которому собственно, по отношению к душе должно принадлежать имя жизни, и сравнительно с которым жизнь наша на земле есть смерть? Только тело разрушается от этой перемены: итак, эта смерть есть смерть только для тела, а для души жизнь. Но и для тела состояние после разделения души с телом можно назвать смертью только в известном отношении, именно только в отношении к прежнему его состоянию. И самое тело разве тогда перестает существовать? Оно разрушается, но части его продолжают тем не менее бытие свое, только в другом измененном, разрозненном виде. А что же такое, как не жизнь есть бытие? Так одно и то же состояние можно назвать и жизнью, и смертью по тому, с какой точки зрения и в каком отношении будем на него смотреть. Нет в мире неотносительной, безусловной смерти; нет в нем и безусловной жизни: и нет ее нигде, кроме Существа Бесконечного.

[Пометка учителя: Умно и основательно. Весьма хорошо.]

РАССУЖДЕНИЕ

СЛЕДУЕТ ЛИ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ПЕРЕД ДОМАШНИМ

Существует преимущественно два метода воспитания: школьный и домашний. Как известно, первый из них был распространен, чуть ли по всей земле, в древнее время, а второй — в средние века. Так как в наши дни почти одинаково пользуются и тем и другим, то справедливо можно поставить вопрос: которому же из указанных методов отдать предпочтение? Вопрос этот чрезвычайно важный, ибо жизнь человека, ее уклад в очень многом зависит от воспитания.

Так как целью воспитания является развитие наших духовных способностей, а таковых преимущественно две (это, разумеется, ум и чувство), то ясно, что воспитание складывается из двух моментов: есть воспитание умственное и воспитание нравственное.

Первое состоит также из двух вещей: во-первых, из возможно полного развития умственных способностей, во-вторых, из возможно большего обогащения их знаниями.

И то и другое, можно думать, лучше достигается дома.

Так как в домашней обстановке, обычно, вместе учатся только или братья или родственники и самые близкие друзья-однолетки, вследствие чего число учеников естественно никогда не бывает велико, то для учителя не представляет труда разобраться в задатках и способностях всех своих учеников и с величайшим старанием беречь и заботиться о каждом из них. Таким образом, он может с большим удобством, весьма удачно и быстро развивать духовные силы учеников, заботиться об их скорейших успехах, обогащать их способности, узнавать, к каким искусствам или наукам они имеют природную склонность, направлять твердой рукой их занятие и вести их той дорогой, какой, по его мнению, они легче всего достигнут поставленной цели.

Да и самое украшение ума знаниями при домашнем воспитании достигается гораздо легче. В этом случае наставник может прекрасно знать, насколько одарены и знающие его ученики, каким именно способом им передать знания, как велики их способности, к каким наукам имеют они природное расположение (если бы мы слушались благожелательную мать-природу, то не было бы среди нас людей негодных), т. е. он прекрасно знает, какие изучать науки и в каком объеме.

СМЕРТЬ БЫЛО ПОНЯТИЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ

Ах, как в мире нашем мертвецы, собирают свои

Фигурочки на это и на другую, вездь, в вездь везу, вездь,

вездь и вездь, вездь и вездь, вездь и вездь, вездь и вездь,

вездь, собирают фигурки вездь, в вездь вездь вездь,

вездь вездь вездь. Откуда такое притворство! Ах,

какое вездь и вездь вездь, вездь вездь, вездь вездь,

и вездь вездь вездь. Это вездь вездь вездь,

каждый же вездь в вездь, вездь в вездь, в вездь,

повал вездь и в вездь в вездь в вездь в вездь,

вездь вездь.

Ах, как в вездь вездь.

СЕМИНАРСКОЕ СОЧИНЕНИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «СМЕРТЬ ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ»
ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ЧЕРНОВОЙ И БЕЛОВОЙ РУКОПИСЕЙ
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

Наконец, так как при домашнем воспитании характер занятий устанавливается учителем совместно с родителями, то ему не приходится беспокоиться, как бы дети не отвлекались (это губило бы его труды) другими делами.

Что касается воспитания школьного, то при нем собирают в кучу множество учеников самых разных способностей, степени развития, возраста, одаренности, прилежания: может ли учитель достаточно хорошо разобраться в каждом из них? И коль скоро ученики идут по пути образования каждый своей дорогой, то возможно ли от учителя требовать, чтобы он достаточно внимательно наблюдал, не выпускал из виду каждого из них? чтобы он мог одновременно развивать всех учеников, занимаясь с каждым в отдельности, по-разному? чтобы он имел возможность всем преподавать столько же, сколько отдельным воспитанникам? А ведь очень часто то, что полезно и нужно одному, совсем не нужно и даже вредно другому.

Сюда нередко присоединяется то, что родители учеников (держась иного мнения, чем учитель, о преподаваемом в школе) порицают школьную науку в присутствии детей; порой они даже уговаривают их бросить ее и заняться другим. Разве это не полное разрушение дома того, что в школе строится учителем? ¹

Мы уже не говорим о том, что ученики, выходя из стен школы, делают свободными от всякой власти учителя; он теряет свое руководство, а молодежь в руководстве всегда нуждается. При домашнем же воспитании с уходом учителя меняется только руководитель; направление же остается прежним.

Время летних вакаций и более продолжительных отпусков в другое время года, на праздники, для большинства учащихся проходит без всякой пользы. Больше того: очень часто ученики забывают то, что выучили в школе. Но при школьном воспитании это неизбежно: родители учеников очень редко живут в том же городе, где находится школа, часто не могут и приехать, чтоб повидать детей — а нельзя же сделать, чтоб родители своих сыновей совсем не видели. Так перерывы почти во всех школах занимают третью часть года. При домашнем же воспитании они совсем излишни ².

Два, главным образом, возражения можно привести против вышесказанного, в восхваление школьного воспитания (в деле развития ума): во-первых, в школе среди учеников поднимается соперничество, польза которого общеизвестна, и во-вторых, в школе дети обогащают друг друга сведениями.

Что касается первого, то его можно лишить силы следующим указанием: не может соперничество принести столько хороших результатов, сколько вреда всегда приносит мысль: Есть много хуже меня! Если же ученику к тому же покажется, что учитель несправедливо ценит его старания и т. д., что ему предпочитают тех, кто ниже его (а показаться может очень легко, ибо юность по природе склонна к самоуверенности и слишком себя переоценивает), тогда такой «ценитель себя» думает: А! Долой все занятия! К чему работать, если меня не хотят ценить по заслугам! Небрежностью стремится он отомстить за мнимую обиду ³.

Второе возражение есть в сущности утверждение, что ленивых учеников в школе легко можно тянуть вперед (они этого, однако, не хотят) за счет ущерба для более прилежных. Но если и считать, что этот обмен занятиями действительно приносит благие результаты, то все же в школе мы наблюдаем, помимо этого, два недостатка в деле развития ума, из которых каждый легко перевешивает все положительные стороны упомянутого обмена.

Один из них — следующий:

Как мы уже сказали, учитель в школе хорошо узнать своих учеников не может (некоторых он, конечно, может узнать, но речь идет о всей массе). В силу этого каждый из них может ввести учителя в заблуждение отно-

сительно своих знаний, прилежания и даже способностей. Но разве много есть среди них таких правдивых и честных, чтобы показывать себя такими, какие они есть на самом деле, раз можно выставить себя в виде лучшим? в особенности — человеку, в чьей власти находится их собственное благополучие? Ведь на основании отзыва учителя устанавливается, в какой разряд по образованию отнести ученика, а от этого разряда в очень многом зависит правовое и общественное положение человека. Но как легко учитель вводится в обман! Почти всякий ученик стремится не к тому, чтобы действительно получить знания, а лишь к симулированию этого, любым путем, в глазах учителя; не имея собственных сил выдвинуться, он почти всегда старается выделиться, выдавая за свою работу чужую; если этого сделать нельзя (в низших классах, например, задания проверяются устно учителем), то он стремится всеми силами представить свою работу и свои знания лучшими, чем есть на самом деле, и дорог к этому находит множество. В результате, не говоря о том, что привычка лгать и обманывать портит и губит нравственность, в учениках развивается склонность к ничегонеделанию и лени. Само соперничество, вследствие этого, дает плохие плоды⁴.

Другой недостаток школы (и притом такой, что его никак нельзя вырвать с корнем) состоит в следующем:

После всего того, что нами сказано, не приходится сомневаться, что в школах всегда будет очень много лентяев, если не явных, то скрытых. И вот, эти лентяи не только сами не занимаются, но и другим мешают. Представим себе, что какой-нибудь юноша хочет прилежно учиться. Он будет постоянно подвергаться со стороны лентяев таким многочисленным насмешкам, что ему надо иметь очень твердую уверенность в своих способностях — оставить всех этих насмешников далеко за собой; это необходимо, чтобы переносить подобные шутки. Ибо в конце концов, если даже он не добьется с их стороны уважения (впрочем, оно никого не зажжет желанием подражать ему), то по крайней мере они перестанут постоянно издеваться над ним в лицо. Если же он обладает только прилежанием и любовью к наукам, а соответствующих способностей не имеет, то эти насмешки, пусть пошлые и неостроумные, но тем более неприятные, увеличиваясь в числе со дня на день, дойдут до такой степени, что нужно не юношеское терпение, чтобы их переносить.

Предположим, он перенесет. Но вот новые несчастья на него обрушиваются. Учитель обратит внимание на его работу, при первом же случае выразит ему свое расположение. Что же следует? Те, кого учитель раньше считал равными ему, теперь видят, что этот юноша их далеко обогнал. Этого никоим образом нельзя простить! Не будучи в состоянии выставить его в глазах учителя плохим учеником, они, из зависти, мстят наговорами. По школе идет молва: новый «ревнитель знания» выдвигается ябедничеством, доносами на товарищей. Кто не разбирается (а таких в школе большинство) — верит, и этот несчастный друг наук почти никогда не избавляется от общего недоброжелательства со стороны товарищей. Очень часто бывает, что недоброжелательство не проходит даже по выходе его из школы. Сколько учеников подобные случаи отпугивают от занятий?⁵ Мы знаем, этому нельзя легко поверить. Но нужно верить: примеры налицо⁶. Мы могли бы указать на целый ряд, если бы речь шла не вообще о школе, а об отдельных лицах.

При домашнем же воспитании и тот и другой из разобранных недостатков вообще не имеет места.

Итак, без всякого сомнения, первая цель воспитания — умственное развитие — гораздо лучше и легче достигается дома, нежели в школе.

Теперь рассмотрим второй пункт: при каком воспитании — домашнем или школьном — лучше развиваются добрые нравы.

Учеников дурного поведения всех исключить из школы нельзя, во-пер-

вых, потому, что их очень много, а во-вторых, инспектура не всех их может заметить: исключая некоторых очень уж буйных, такие ученики прилагают все усилия к тому, чтобы иметь вид добропорядочных. Но как вредно их общество для товарищей! Один негодный ученик может загрязнить нравы всех остальных. Невозможно ведь совсем не иметь сношений с тем, кто — чувствуешь — приносит тебе вред: сочтут гордецом, все станут плохо относиться. Но даже самой высокой нравственности человек не может не пострадать от дурного сообщества. Конечно, он не станет подражать грязным делам, но естественно — чистоту души потеряет. А для юности она должна быть ценнее всего; это — его гордость и краса.

Что же? Значит не нужно совсем и в жизнь вступать? Там (скажете вы) тоже найдешь дурное общество? — Но почему? Разве школу и жизнь можно сравнивать? Совсе нет. В жизнь вступают взрослыми, с уже сложившимися нравственными воззрениями и образом мыслей (они должны быть выработаны); в школу же — детьми, у которых, можно сказать, вовсе нет нравственных воззрений. Не говоря о том, что люди, участвующие в общественной жизни, в тысячу раз легче могут избежать дурных друзей, нежели дети, обучающиеся в школе, все это возражение можно отвести простой ссылкой на одно часто употребляемое выражение: «Худое узнать — никогда не поздно» (С. П. Шевырев)⁷.

Даже относительно хороших нравов, в деле их улучшения, школа приносит новые трудности.

Для того, чтобы меры по улучшению нравов приносили желаемые плоды, необходимо, во-первых, чтобы тот, кого исправляют, имел к исправлению полное доверие и любовь: чтобы он, далее, верил, что его наказывают не по прихоти или излишней строгости, а потому, что это нужно ему самому; что к наказанию не обратились бы, если бы можно было обойтись без него; что полученное наказание соответствует проступку; это даже самому наказываемому тяжело, что он принужден так поступить. В противном случае тому, кого наказывают, наказание или выговор не только не принесут ничего хорошего, но даже наоборот, — заставят его упорствовать в пороке. При домашнем же воспитании доверие подобного рода иметь совсем не трудно, ибо блюстителями нравов должны быть там сами родители или же, если их нет, самые близкие родственники.

Но с каким трудом оно достигается в школе! Лицо, наблюдающее здесь за поведением, не только не родственник поступающему ученику, но обычно совсем неизвестный для него человек. Мальчик его еще не знает, а в голове у него уже ходят мысли о тиранстве, заносчивости, жестокости (среди школьных инспекторов люди с подобным характером попадают слишком часто, для того чтоб можно было за такие мысли упрекать); он заранее настроен к своему воспитателю враждебно. В связи с этим малейшее замечание кажется бесчеловечностью; самый душевный воспитатель — тираном; ничтожное ограничение свободы — невыносимым рабством, и наказания или выговоры приводят не к благу, а к дурным последствиям. А как трудно разбить эту предубежденность! Но предположим, что ученик поступает в школу даже без нее. Кто же все-таки может проявлять по отношению к человеку совсем чужому столько же уважения, доверия и любви, сколько мы проявляем к нашим родителям и родным?

Допустим еще больше — что наблюдающий за поведением учеников снискал их веру, уважение и даже любовь. И все-таки: кто может заменить отца и мать? Даже ангел-хранитель не может. В деле исправления нравов больше имеет значения одно слово отца, чем любые, самые веские аргументы, постоянное наблюдение и требовательность чужого человека⁸.

Учитель в школе хорошо узнать всех своих учеников не может; тем более — инспектор. Результаты те же: пренебрежение к подлинной чистоте

нравов и стремление представиться в глазах начальства лучшим, чем есть на самом деле. Другими словами — привычка обманывать и хитрить.

Одно можно сказать, по вопросу о нравственном воспитании, в защиту школы: здесь господствуют определенные нравственные нормы. Но если это и считать правильным, то все же указанное обстоятельство не может перевесить всех трудностей и отрицательных сторон школьного воспитания нравственности. Да что пользы в том, что пятидесяти или сотне людей привиты определенные нравственные нормы! Разве не все равно, если бы они имели разные понятия? Эта сотня разольется и бесследно исчезнет среди миллионов⁹. Правда, окончившие высшую школу не так легко растворяются и теряются в толпе и посему имеют не малое влияние на нравственную сторону остальных людей. Но число высших школ, а, следовательно, и кончающих эти школы, так мало по сравнению с числом низших, что веса это не имеет. Да и верно ли, что в школе господствуют определенные нравственные нормы? Сомневаемся¹⁰. У большинства людей, а значит и у инспекторов, развитых норм почти не имеется. Каким же образом они передадут другим то, чего сами не имеют?¹¹

Итак, мы не можем не утверждать, что и вторая цель воспитания — развитие нравственное — гораздо лучше достигается при воспитании дома, нежели в школе.

Значит ли это, что следует отвергать самый институт школы? Вовсе нет. Больше того: величайшей хвалы заслуживает тот, кто заботится об их распространении. Воспитание и образование, несомненно, человеку весьма нужны, а обучаться частным образом, в особенности — наукам высшим, могут столь немногие, что число их сравнительно с теми, у кого нет возможности учиться на свои средства, можно считать равным нулю, в школе же может учиться каждый. Конечно, те, кто учится дома, в высокой степени счастливы, по сравнению с теми, кто может учиться только в школе; но эти последние — счастливее тех, кто вовсе не получил образования¹².

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Против всего этого абзаца сделана отметка: «Мысль выражена неясно» (*indefinite sensa expressa dantur*).

² Против начала и середины настоящего абзаца поставлено по два вопросительных знака.

³ Конец абзаца отмечен вопросительным знаком.

⁴ Выводы, сделанные в конце этого абзаца, вызвали вопросительный знак.

⁵ При этой фразе вопросительный знак.

⁶ Над каждым словом фразы: Примеры налицо (*cum exempla sunt prae oculis*) по вопросительному знаку, а на полях кроме того так называемая «нотабене».

⁷ Русский перевод приведенного выражения и юсылка на С. М. Шевырева сделаны Чернышевским в примечании.

⁸ Абзац украшен четырьмя вопросительными знаками — двумя в начале и двумя в конце.

⁹ К этим словам, начиная «Да что пользы...», поставлен знак «нотабене».

¹⁰ То же самое.

¹¹ То же самое.

¹² Весь заключительный абзац отчеркнут линией, начало отмечено знаком «нотабене», а слова «конечно, те, кто учится дома... только в школе» дважды подчеркнуты. Затем следует отзыв (ср. Предисловие): «Изложение ясное и очень хорошее, но направление мыслей, обращение внимания только на школьные злоупотребления, — ложно. Ничего не сказано о цели, к которой направляет школу высшая власть» (*Sensuum expositio concinna et optima, sed sensuum directio, abusus scholarum publicarum solummodo spectans, fallax. Finis, ad quem scholae a Summa Potestate diriguntur, silentio praetextus est*).

Вот, для образца латыни Чернышевского, этот последний абзац в оригинале: *Num igitur scholarum publicarum institutio reprehenda est? Minime; immo laude maxima est dignus, qui propagandas eas curatur: educatio enim eruditioque procul*

dubio homini necessariae sunt, at privatis mediis se erudire, praesertim doctrinis superioribus, tam pauci possunt, ut numerus eorum prae numero eorum, quibus propriis mediis se erudiendi facultas nulla est, pro nihilo sit habendus; scholis vero publicis erudiri potest quisque. Sane, felicissimi sunt, qui domi erudiuntur prae iis, qui scholis tantum publicis erudiri possunt; at multo hi feliciores sunt prae iis, qui omnino sunt non eruditi.

II. СТУДЕНЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Н. Г. Чернышевский учился в Петербургском университете с осени 1846 г. до середины 1850 г. С лета 1848 г. он вел ежедневные записи в своем «Дневнике». В этих записях уделялось много внимания университетским занятиям, и «Дневник», а также переписка с родными в Саратове за 1846—1849 гг. дают нам путеводную нить для определения времени составления этих сочинений.

Работа Николая Гавриловича, основанная «на сочинениях знаменитейших историков», посвящена общему анализу древнейших памятников исторической литературы, главным образом по истории Греции. В «Дневнике» об этой работе упоминаний нет.

Курс всеобщей истории в Петербургском университете в эти годы читал Михаил Семенович Куторга (начинал с древней истории) и продолжал курс хронологически в течение ряда лет. В 1846/1847 г. Куторга читал, например, историю Афин от Пелопонесской войны до Демосфена. В 1847/1848 уч. году он довел лекции до средней истории и остановился на начале феодального периода («Литературное наследие», т. II, стр. 121, 136). Таким образом, тематика сочинений Чернышевского совпадает с тематикой лекций М. С. Куторги в 1846—1848 гг. Нам кажется, что вероятнее всего эту работу отнести к 1847/1848 уч. году, когда Чернышевский был на втором курсе. Ведь в письме к родителям с описанием экзамена по древней истории за первый курс 1846/1847 г., Чернышевский беседу с Куторгой описывает, как первую встречу: «Мною он, кажется, остался доволен, спросил (что, конечно, не делает обыкновенно) откуда я». «Литературное наследие», т. II, стр. 121). Таким образом едва ли эта работа была им сделана в 1846/1847 учебном году.

Более точные данные мы имеем о втором публикуемом студенческом сочинении Николая Гавриловича — на тему «Участвовали ли поэты в развитии народной жизни». В «Дневнике» за 1850 г., под 19 января («вторник») Чернышевский сделал следующую запись: «У Никитенки некому, конечно, было читать, поэтому я, сидя в аудитории, написал несколько... об историческом роде поэзии. Он сказал, что лучше не читать, а говорить, и поэтому мы говорили. Моя главная мысль была, что же изменяет исторические характеры — это недостатки [здесь запись неразборчива. — Прим. редакции]. Тогда я начал читать о влиянии поэзии, которое начал было писать для Плетнева, тут же говорил с Данилевским. Никитенко, хотя с трудом, согласился со мною». («Литературное Наследие», т. I, стр. 492). Очевидно работа о «влиянии поэзии» и была тем сочинением, текст которого нас интересует. Что прочитана она была на занятиях проф. Никитенки — тоже понятно. Ведь о характере этих занятий в 1849/1850 уч. году Николай Гаврилович писал осенью 1849 г. родителям в Саратов следующее: «Никитинкины лекции педагогические, т. е. посвящаются на чтение наших статей, разговоры об относящихся к литературе вопросах и т. п.» («Литературное наследие», т. II, стр. 136).

Написаны обе работы скорописью и расшифрованы для публикации Н. А. Алексеевым.

А. Нифонтов

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СОЧИНЕНИЯХ ЗНАМЕНИТЕЙШИХ ИСТОРИКОВ И Т. Д.

Тот, кто писал эту статью, не имел случая узнать форму китайских летописей, вероятно самую древнейшую в своем роде. Но вероятно она не отличается многим от обычной формы летописей, той формы, какую видим мы в хрониках Средних веков (Прокопий и др.). От индийцев нам не осталось ни летописей, ни вообще каких бы то ни было исторических сочинений, единственные воспоминания о древнейшем времени жизни индийского общества остались нам в их религиозных поэмах, отношение которых к истории довольно похоже на то отношение, какое мы видим в Илиаде и Одиссее, но в которых еще больше фантастической примеси: действительные события, которые рассказываются в них, тоже имеют историческое основание, как и сказания Илиады и Одиссеи; но в Илиаде и Одиссее герои только действуют под непосредственным влиянием богов, фантастически чудесное только покровительствует им или преследует их, а сами они чисто люди, создавая их поэт не вложил в них ничего фантастического, не придал им никаких нечеловеческих свойств; а в Рамаяне и Магабгарате и сами герои или фантастические существа, или одарены чудесными, божественными качествами и силами. Поэтому эти исторические поэмы еще менее принадлежат области истории, чем Илиада и Одиссея. Зендавеста скорее должна называться богословским, чем историческим сочинением, хотя в ней есть некоторые исторические факты. Другие исторические сочинения Средней Азии, имевшие форму саг или при рассказе о последующих временах общую форму простой летописи, не дошли до нас. (Зач.: точно так же, как не дошли до нас богатые) летописи финикийские и летописи Египта. Отрывки Бероса, Санхуниатона и Манефона так незначительны, что нельзя по ним судить с достоверностью о характере летописей вообще в древнейшее время у народов, составлявших Персидское государство. То же самое должно сказать об отрывках Санхуниатона, несколько страниц которых одни уцелели для нас из огромных собраний богатых и подробных финикийских летописей. По отрывкам тем менее можно судить о характере финикийских летописей, что отрывки из них, которые дошли до нас, относятся к временам мифическим и имеют потому более характер теогонии, чем истории. (Зач.: вероятно, однако, что характер хроник финикийян, когда они говорили о временах чисто исторических, когда летописцы описывали события современные или близкие к ним, приближались к той форме, какую имеют Книги царств, Паралипомена — отрывочные анекдоты, рассказанные подробно и едва связанные между собою несколькими фразами, из которых едва можно судить о том, что было в промежутке между этими отдельными фактами). То же самое должно сказать и о Манефоне, отрывки которого единственный остаток, который уцелел для нас от египетских летописей. Таким образом из древних восточных исторических сочинений остаются у нас одни еврейские. Священные книги еврейского народа, в которых рассказывается история его до возвращения из пленения вавилонского, все имеют один характер. Это собрание подробно рассказанных анекдотов. Рассказы об отдельных происшествиях едва связаны один с другим несколькими словами, из которых невозможно вывести даже хоть самое общее понятие о том, что было в промежутке между этими подробно рассказанными (событиями), так что, правду говоря, мы знаем только один какой-нибудь частный случай, относящийся к известной эпохе, и вовсе ничего не можем сказать о самой эпохе, и не в состоянии связать этих отрывков в целое иначе, как произвольными предположениями. Зато эти отдельные события рассказаны живо, лица, в них действующие, очерчены ярко.

Но если нет в этих книгах связного рассказа, нельзя сказать, чтоб в них не было общей мысли, которая должна придавать известную цель

этой истории: такая мысль, напротив того, выводится в них ясно, постоянно и идет через все книги, через все события очень последовательно: Эта мысль — бог непосредственно управляет своим избранным народом, он ея царь и судия, неизменно и скоро вознаграждающий свой народ за любовь к себе, за добрые нравы и наказывающий за забвение о себе, за неверие, за неисполнение своих заповедей, уклонение к богам чуждым. Эта основная мысль придает рассказу священных книг истории еврейского народа единство, известный колорит, очень выгодным образом действующий на читателя и в эстетическом отношении. Благодаря подробностям, с которыми изложены [?] все эти отдельные анекдоты, почти исключительно составляющие содержание этих книг, мы очень хорошо знаем нравы евреев, их религиозные верования и домашний быт, и их понятия о вещах. Таким образом источники их истории читаются с удовольствием, вовсе не сухи и не скучны и дают нам возможность очень хорошо понимать состояние еврейского народа, в котором он находился на таких ступенях развития, жизнь на которых у других народов осталась либо совершенно не записанной, либо если записана, то или сухо и безжизненно, или украшена, т. е. воображением, расцвечиваниями передельвателей старых хроник, переносящих взгляды и понятия своего времени в те времена, или, пока ее записать успели, приняла мифический вид, переходя от одного поколения к другому изустно.

Таким образом форма еврейских летописей, священных книг еврейского народа такова, что очень хорошо было бы для истории, еслиб летописцы Средних веков захотели подражать ей: большая часть летописей Средних веков не может идти в сравнение в этими книгами. Конечно, это не история в том смысле, как мы понимаем ее, но нам кажется, что эти книги очень приближаются к ней. А например история Фукидида что: хочет рассказать о чисто политических событиях и почти исключительно о военных действиях.

Греческих хроник в том виде, в каком имеем мы хроники Средних веков, до нас не дошло. Сочинение Геродота уж сборник и переделка хроник, в ней они утратили свой прежний характер. У него даже хронология уж уступила место внутренней связи событий, если не объективно, то по крайней мере субъективно — он говорит обо всем, что в его уме приплетается к известному факту, не стесняясь хронологическими соображениями. История — полный жизни рассказ, усеянный множеством эпизодов, иногда очень длинных, отступлений, анекдотов, описаний того, что удавалось видеть или слышать, рассуждений о том, что интересовало его или его современников, если хоть сколько-нибудь можно было приплести эти отступления к главному рассказу. Главное, что он описывает, это военные действия, но у него множество и других рассказов, которые для нас гораздо драгоценнее рассказов о военных действиях: он говорит и о религии, и об образе правления, и о нравах, и о домашней жизни различных народов, о которых приходится ему рассказывать (описывая) войны греков и персов; у него есть и географические и топографические подробности, и ученые рассуждения, и все что вам угодно. Он совершенно не думал ни о какой системе, говорил о всем, что только мог знать. Его сочинение — энциклопедия всего, что можно было знать преку в его время, только энциклопедия, связанная не какою-нибудь научною системою, а ходом военных действий. Основная мысль его — рассказать войны греков с персами и сказать по этому поводу все, что знает он о тех народах и странах, которых коснется его рассказ. Хотели видеть у него и другую основную мысль: «божество завистливо к счастью человека и заставляет его искупать несчастным концом счастье жизни». Эта мысль действительно ясно высказывается у него во многих случаях (например, в рассказе о Крезе, о том, как был у него Солон и как потом он был возведен на эшафот, о Кире, о Поликрате), но едва ли можно сказать, чтоб она была

проведена у него через все сочинение. — Это его взгляд на отношение судьбы к человеку, взгляд, который очень занимает его и который он высказывает при всяком удобном случае, но просто его глубокое убеждение, его любимая мысль, а не идея, положенная им в основание его сочинения. Большая часть тех подробностей, тех отступлений, анекдотов и рассуждений, которые находим у него, не имеют к ней никакого отношения.

Таким образом, в сочинении Геродота нет ни внешней хронологической или какой бы то ни было другой системы, ни внутреннего единства; это просто рассказ словоохотливого человека, не слишком думающего о связи между различными частями своего рассказа, человека, который начинает за здравие и сводит за упокой. Нам нет нужды говорить, что от этого-то собственно и приобретает его сочинение для нас такую важность, что он говорит о всем, что только знал, но как бы то ни было, это сборник рассказов о всевозможных вещах, фон которого составляют исторические рассказы, но это вовсе не история, точно так же, как, например, путешествие Марко Поло вовсе не география, хотя фон сочинения Марко Поло — географические рассказы.

У Фукидида есть строгий хронологический порядок, которого он никогда не нарушает. Он собственноручно рассказывает Пелопоннесскую войну и кроме военных действий и планов все остальное занимает очень мало места в его истории. Свои взгляды на причины и результаты военных предприятий излагает он, как и все греческие и римские историки, в речах, которые заставляет говорить главные действующие лица своего рассказа, в них выказывается большой его ум и знание политического положения греческих городов. Но несмотря на эти речи история его, кажется нам, еще менее, чем Геродотова, может называться историею в нашем смысле. — Он говорит почти исключительно о военных действиях; ни о нравах, ни о понятиях тех племен, о которых говорит он, не находим у него ничего; может быть, это происходит оттого, что он пишет историю своего времени и говорит почти только о племенах греческих, — следовательно, не находит нужды говорить об общественном состоянии и быте их, которые и без того известны, как он предполагает, каждому его читателю. Но и политическая сторона событий, нам кажется, мало его занимает, — у него мало говорится о борьбе партий, о планах их, если только они не имеют прямого отношения к военным действиям, зато военные действия рассказаны у него все, без малейшего пропуска; если 20 человек вышло из одного города и ограбили несколько хижин на неприятельских землях, он не забывает и этого, отчего его история, если сказать правду, монотонна, и прочитать ее без пропусков от начала до конца вещь довольно скучная потому, что большая часть тех военных действий, о которых говорит он, не имеет [пропуск в оригинале] «вышли, ограбили, затем воротились»; «вышли, другие пошли на встречу, победили их, или победили они, воротились» — вот содержание всех его рассказов, почти не оживленное даже никакими подробностями, — нельзя не согласиться, что это очень монотонно. Никакого значения и для современников его, кроме разве тех, которые были опраблены вследствие этих экспедиций, а тем менее могут возбудить наше любопытство. Анекдотов он не любит, и характеры действующих лиц у него совершенно не очерчены, так что о Демосфене или Ламахе мы ничего не можем сказать, да если захотим сказать, что знаем что-нибудь — из рассказов Фукидида — и о характере Никия, Бразида, Клеона и т. д., то это будет большею частью натяжка.

УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ПОЭТЫ В РАЗВИТИИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ И Т. Д.

Было время, когда считали поэтами одних стихотворцев и когда считали поэтов только краснобаями, больше ничего, поэзия, — воображали себе, — род игрушки, забава для ушей в том роде, как какая-нибудь точеная

вещица забава для глаз. И правы были с той стороны эти люди, что поэты их эпохи или по крайней мере люди, считавшиеся в то время поэтами, писали в самом деле такие стишки, что нечего было делать с ними, кроме того, что почитать их в свободную минуту, сказать: «как это мило!» и положить в сторону. Только гениальные поэты, если родились в такую эпоху, не подчинялись таким понятиям на деле, хоть и соглашались с ними в теории: и если, принимаясь за перо, хотели они написать лишь безделушку, то выходила из под пера вовсе не милая безделушка, а серьезная вещь, которая поболее иного указа имела влияние на судьбу их народа. Но что раньше делали инстинктивно, сами того не зная, часто против воли, только немногие гении, к тому теперь стремятся с ясным сознанием все поэты, и вероятно гениальные поэты, действуя с сознанием и с намерением, в большей полноте достигают своей цели, чем тогда, когда писали, не думая о ней, а только инстинкт направлял его шаги туда, куда он вовсе и не думал идти; а писатели не гениальные, которые раньше не имели никакого влияния на общество, теперь, идя вслед за гениями, стремятся дружно к тому же, к чему и великие люди, под влиянием которых находятся они, тоже делают очень, очень многое для развития общества, среди которого живут. Мы теперь вообще ясно понимаем то, что поэт—такой же деятель на общество, как и ученый, только может быть влияние его сильнее, что он гораздо сильнее на него [действует,] чем даже законы, под управлением которых живет народ, что нам кажется только странно то, как могли раньше не понимать этого: если какая-нибудь эпоха и была бы уж так бедна интересами и силами, что не могла родить ни одного истинного поэта, и потому нельзя было бы видеть тем людям на современном им обществе, какое влияние имеют поэты на свой народ,—а такие бедные эпохи едва ли когда-нибудь бывали у народов, вышедших на поприще исторической жизни: но если даже и можно было найти такую эпоху, в которую жизнь народная была слаба, что не было у народа истинных поэтов, то история совершенно ясно показывает людям [на]шего времени влияние поэзии на развитие человечества, и объяснить то, как могли они создать себе такую теорию, по которой поэзия не больше как забава, средство приятно провести время, когда серьезного ничего не хочется, или нечего делать, или милая безделушка,—можно только тем, что тогда и истории настоящим образом вовсе не знали, она ведь по тогдашним понятиям состояла в длинных, как можно длиннее и подробнее, рассказах о войнах,—только и заботились о том, чтоб знать историю походов, только и занимательны казались описания сражений и осад. Да и о том очень мало думали, когда писали и читали эти так называемые истории, отчего была известная война и какие были ее следствия,—только именно сами-то военные действия и обращали на себя внимание и писателей, и читателей, остальное оставлялось без внимания, до того оставлялось без внимания, что для истории более половины жизни человечества с тех пор, как начали записывать исторические события, только и записаны одни войны. Много, если к этому догадывались прибавлять летописцы и компиляторы, носившие имя историков, хоть очерки характеров государей и полководцев да по несколько анекдотов о тех из них, которые были в самом деле исполнены. Но мы теперь понимаем историю не так. Достаточно посмотреть только, чтоб видеть, как именно тогда действовали поэты на развитие своего народа, как сильно было их действие и на какие стороны народной жизни оно обращалось.

Насколько мы можем судить об индийской поэзии, она имела исключительно религиозное направление и чрезвычайно сильно должна была содействовать укоренению в народе философско-религиозных пантеистических взглядов на мир и человека. И драмы, и эпопеи санскритские проникнуты этим духом и развиваются чрезвычайно глубоко и очень поэтически. О сте-

пени их влияния в древности мы можем судить по тому, что теперь еще чтение, соединенное с представлением религиозных поэм (особенно, кажется, Рамаэны) привлекает сотни тысяч народа в пустыни, и эта огромная масса народа по целым неделям странствует по лесам, по долинам Индии, по берегам Ганга, смотря по тому, куда переносится рассказ Рамаэны (когда действие происходит в лесу, идут читать и представлять Рамаэну в лес; когда действие переходит на Ганг, идут к Гангу, и т. д. Конечно, при этом чрезвычайно сильно должно возбуждаться в народе религиозно-философские верования и чувствования, проповедуемые в Рамаэне. И вероятно мы не ошибемся, если скажем, что вместе с другими религиозными процессиями эти религиозные представления одна из самых главных причин, почему ни мухаммеданство, ни христианство не могут найти в Индии последователей, почему индийцы так верны браминскому учению. Только одна причина есть, которая действует может быть еще сильнее этих индийских мистерий — это именно глубоко укоренившееся в душе народа деление на касты, вследствие которого индийцы никак не могут понять учения о равенстве перед богом и братстве людей, проповедуемого и в Коране, и в Евангелии.

У евреев также поэзия, поскольку она известна нам, вся имела религиозное направление. Мы не думаем, чтоб нужно было много говорить о чрезвычайно сильном влиянии, какое имели и имеют еще на развитие религиозного чувства в еврейском народе псалмы и другие произведения религиозно-лирической поэзии. Но и пророков должно назвать поэтами и великими поэтами, особенно некоторых из них, например, Исаию и Иеремию. Мы не знаем, успели ли в последнее время так хорошо узнать все видоизменения и условия поэтической формы по понятиям, соответствующим у евреев тому, что у нас называется метром, чтоб решить окончательно, писаны ли книги пророков стихами или прозою. Раньше это могли сказать наверное. Но во всяком случае все равно: все пророки более или менее истинные поэты, а Исаия, например, останется навсегда одним из величайших поэтов, какие только нам известны. Нечего и говорить о том огромном влиянии, какое их предсказания, особенно предсказания о пришествии мессии и восстановлении царства израилева, имели на евреев до самого того времени, как они были, возбужденные до фанатизма ложным пониманием этого пророчества, большею частью истреблены римлянами, против которых восстали; должно приписать во многом и той увлекательности, пламенному поэтическому чувству, с которым написаны эти пророчества, независимо от того, что они в том виде, как их понимали евреи около времени рождения Христа, слишком лестны и приманчивы были для их патриотизма: и мы, если будем читать книги пророков в хорошем переводе, не будем в состоянии не увлечься пламенною поэзиею, которою они проникнуты. Но и само чувство национальности, которое заставило евреев восстать против римлян, которое так глубоко проникло в жизнь каждого еврея, обязано своим происхождением религии: она породила и поддерживала и поддерживает это чувство. А уж в том едва ли кто будет сомневаться, что религия всего сильнее действует на человека своею поэтическою стороною.

Точно так же и Коран имеет такое могущественное действие на мусульманские народы, конечно, своею поэтическою стороною. Мухаммеда тоже мы должны признать одним из величайших поэтов, какие только существовали в мире: как пламенно-поэтически прославляет он в Коране величие и могущество божие! Напрасно приписывать быстрое распространение мухаммедова учения и ту необыкновенную твердость в вере, которою отличаются мусульмане, позволению многоженства и чувственным краскам, какими описывается загробная жизнь: многоженство ввел на Востоке не Мухаммед, и мусульманство в этом отношении не имеет никаких выгод в глазах чув-

ственного человека перед другими восточными религиями; все народы, стоящие на подобной или высшей ступени образованности, представляли себе ее в точно таком же чувственном виде, даже в более чувственном, если возможно: ни Валгалла, ни Елисейские поля не уступают в чувственных наслаждениях Мухаммеду раю. Только ясно сознаваемое пантеистическое направление спасало от таких взглядов на загробную жизнь (потому в будущей жизни по учению браминизма и буддизма нет ничего чувственного). И это опять не могло заставить обращаться в мусульманство и так сильно привязываться к нему. Да если и в самом деле чувственные наслаждения в раю были главною причиною распространения и непоколебимости мусульманства, то неужели возможно возвести до такой твердости, несомненности эту надежду иначе как силою поэтического гения? Доказательств тут нельзя представить, и одною только степенью яркости и живости изображения должна измеряться сила убеждения, пробуждаемого проповедью о будущей жизни. Напротив, для чувственного человека мухаммеданство имело ту чрезвычайно большую невыгоду, что запрещает вино — прекрасное правило, особенно в жарких странах, но мы должны только вспомнить ответ, какой у Нестора дает Владимир мусульманским миссионерам, чтоб понять, что чисто чувственные чаяния мусульманства вовсе не привлекательны для большей части народов, которые приняли эту религию, она была великим, великим шагом вперед из совершенной чувственности к духовности; теперь кажется все согласны, что мухаммеданству чрезвычайно много обязана цивилизация Востока, да, говоря строго, и Запада — через Испанию и Крестовые походы. И неужели так заманчива для чувственности заповедь благотворительности, которую так строго налагает Мухаммеда, которая в самом деле строже чем кем бы то ни было соблюдается мусульманами? Поэтому мухаммеданство вовсе не потому было принимаемо и так крепко укоренилось в сердцах своих последователей, что льстит их чувственности, — вовсе нет, а потому, что такую могущественною силою поэзии облек гений Мухаммеда чистый деизм, который проповедывал он, религию высокую, до того высокую, что она даже не могла удержаться на своей первоначальной высоте в чисто богословском отношении у его последователей. И в самом деле, стоит прочесть несколько страниц корана, чтоб убедиться, что это — великое произведение в поэтическом отношении. Вспомним хоть отрывки, которые перевел из него Пушкин — это перевод из вторых рук, а как много еще в нем огня!

Переходим из Азии в Европу. Здесь прежде всего встречаем мы Гомера. Едва ли нужно много говорить о том, как сильно содействовал он образованию греческой национальности, пробуждению национального сознания и любви к своей народности в греках. Гомеровы песни всегда были одной из самых сильных связей между различными племенами Греции. Нечего говорить и о том, как всегда герои его были идеалами древних воинов и полководцев, как чтение Илиады воспаляло их стремление к славе и подвигам, нечего напоминать о том, что Илиада была любимым чтением Александра Македонского, Ахиллес — идеалом, с которым он стремился сравняться, и верно цивилизация обязана Гомеру тем, что имела Александра. Но нельзя не сказать и того, что с Гомеровыми песнями начинается новый период греческой религии, можно сказать — новая религия: они установили и лица богов, и круг державы каждого бога, и атрибуты их; Гомер — отец той преческой мифологии, которая нам осталась. Раньше боги были другие, и значение их другое, и атрибуты их другие, и вероятно весь дух религии другой. После Гомера его дело в Греции продолжал Гезиод, и его песни, специально избравшие себе мифологию, сделались чем-то в роде священной истории греков. После полумифических ликургик, которым Спарта обязана своим могуществом, должно, прежде чем перейдем к поэтам, личность которых

принадлежит уже совершенно достоверной истории, сказать, что греки считали влияние поэзии на возникновение гражданского общества и образование человека до того сильным, что считали поэтов первыми основателями городов и отцами гражданских обществ, первыми образователями людей, выведшими их из полудикого состояния, научившими их почитанию богов и тому, что человек должен жить под защитой власти, а не как волк, и в браке, иметь семейство, приписывали все Орфею, Лину, Амфиону. Верно в самом деле было подобное влияние поэзии на переход греков из дикого состояния к полуобразованному.